

Каринэ АРУТЮНОВА

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новый журнал», «Иерусалимский журнал», «ШО», «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года. Живет в Киеве.

«СКАЖИ МНЕ ТАК, ЧТОБЫ Я ТЕБЯ УВИДЕЛ»

Надежда все-таки есть.

На главной сцене главного театра идет безымянная пьеса Ионеску. Но и в театре абсурда свершаются рациональные действия. Ну, не целые действия, а хотя бы моменты.

Надежда есть. Она оживает, когда произносятся длинные, уводящие от сюжурминутного смысла слова. Допустим, – «консультация». Или «совещание».

Это же хорошее слово. Консультация – это все-таки еще не война. Или – «разберемся». Пускай потихоньку разбираются, пускай не торопятся. И дадут нам немного пожить. И еще – тональность этакого отеческого увещевания нам по душе. Пусть лучше увещевают, пусть возмущаются, сетуют, топают ногами, разводят руками. Лучше пусть выпускают пар. Хотя, с другой стороны, они выигрывают время. Пока мы прикидываем, взвешиваем, изучаем интонацию на возможный процент реальной угрозы, процент бравады, гнева, лукавства и вранья, минуты идут.

В общем, на слове «консультация» («прием», «совещание») некоторые приободрились. Все-таки, цивилизованные люди, воротнички, запонки, фуршетты, то-се.

И тут, как всегда, некстати, в другом, параллельно открытом окошке, идет некий фильм. Знакомый фильм на знакомую тему. Только вместо планшета или ноута – массивный радиоприемник в углу. А там люди, допустим, семья. Пьют чай, шутят, обсуждают книжные новинки, цены на газ и молоко. Заедают тревогу галетами. У нее новое платье, от знакомой портнихи. Как же без нарядного платья, с такими, знаете ли, рукавчиками, похожими на фонарики. У него неважный аттестат и невыученные глаголы.

Вслушиваются, улавливают слова, интонации. Облегченно выдыхают. Слово «консультация» их успокаивает. Или вот, допустим, «разберемся». Все-таки, это еще не оно, не сейчас, не с ними. Время еще есть.

2014

Собираясь в укрытие, я беру с собой (помимо коврика для себя и собаки, двух фонариков, глиняной свистульки (на определенный случай, вместо свистка), помимо воды и мисочки для собаки, воды для себя, зарядки и аккумулятора, я беру красного африканского жирафа.

Жираф крошечный, умещается в ладони. Вытесан из камня африканским умельцем, имени которого я никогда не узнаю. Камень этот прохладный становится теплым, он вбирает в себя мою тревожность, а отдает – безмятежность.

«Для того чтобы испытывать страх, человек должен испытывать некоторую надежду на спасение того, за что он тревожится; доказательством этому служит то, что страх заставляет людей размышлять, между тем как о безнадежном никто не размышляет».

Я беру с собой красного пятнистого жирафа и книгу. Кладу ее заранее в рюкзак.

Не то чтобы в момент обстрела можно сосредоточиться на чтении... скорее, нет.

Но что-то из «нормальной», прежней жизни.

Слово. Вещественное (материальное) его доказательство. По сути, доказательство того, что я человек. Не только тот, кто боится и бежит. Боится и прячется. Но и тот, кто мыслит. Читает. Впитывает.

Я выбираю книгу. Желательно, старенькую, ветхую, легкую. Самое сложное в этом деле – выбор. Диапазон, как вы понимаете, обширен. Есть где разгуляться.

От Сетона-Томпсона до Мандельштама, от Платона до Аристотеля.

Господи, ну и невежда же я! Кто знал, что жену Аристотеля звали Пифиадой. Пифией. Что он вообще был женат! Зачем философу жена, я вас спрашиваю?

Александр Македонский, оказывается, был нерадивым учеником Аристотеля. Македонскому было не до того вообще. Не до философии. Он мыслил явно не философскими категориями.

Вообще, книжка эта, страшно сказать, моего года рождения. И карандашиком подчеркнуто. Пометки на полях.

Таким вот удивительным образом посредством греческой философии я вновь встречаюсь с папой.

«Случайное не есть ни то, что бывает по необходимости, ни то, что бывает по большей части, но нечто, происходящее вне пределов того и другого».

Подчеркнуто. Тонким карандашом. Папой, который в момент чтения годился (бы) мне сегодняшней в младшие сыновья.

А где при этом была я? Возможно, я уже существовала в виде спеленутого семимесячного младенца весом в 1700 г.

Аристотель и пеленки. Бельевая веревка, натянутая то ли вдоль, то ли поперек... Старый подольский дом, комната, какой-то прости господи быт. Выварка на плите, общая кухня. Ванночка детская. Цинковое корыто. Жалобный писк новоявленной.

У вас девочка, поздравляю! Долго еще в мамином шкафчике лежали эти скрученные прорезиненные бирочки для новорожденных, с фиолетово расплывающимися буквами на них...

Накануне моего рождения они (родители) довольно серьезно поссорились. Живые же люди, страстные, юные. Не знаю, что послужило причиной. Способствовала ли философия примирению? Либо, напротив, разжигала обиду? Этого мне уже не узнать.

Но, следуя подчеркнутым тонко заточенным грифелем строкам, я могу (по крайней мере) приблизиться. Не к формальному поводу, не к истинной причине.

«Каждый может разозлиться – это легко; но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, насколько нужно, и тогда, когда нужно, и по той причине, по которой нужно, и так, как нужно, – это дано не каждому».

В конце концов, возможно, мое рождение послужило не последним поводом для примирения.

«Природа ничего не делает напрасно.

Ни неодушевленное существо, ни зверь, ни ребенок ничего не делают случайно, так как у них нет предварительного выбора цели».

В «Никомаховой этике» Аристотель перечисляет вещи, о которых человек не может принимать решений.

«О вечном никто не принимает решения, например, о космосе или о несоизмеримости диагонали стороне квадрата».

Дойти до общего нельзя без способности, называемой памятью.

«Не любит тот, кто не любит всегда».

Я всегда сторонилась точных, выверенных формулировок. Как будто своей математической точностью они ограничивали беспредельность сознания. Полет фантазии, не скованной догмами. Иллюзорной, конечно же. Любая так называемая беспредельность имеет границы. Выверенные однажды то ли Платоном, то ли Аристотелем.

Беспредельность имеет адрес. Систему координат. Опирается на гласные и негласные правила, а также ряд исключений из них.

Находясь в укрытии, я испытываю что-то вроде тайной, невысказанной нежности. К кому, спросите вы? К невидимому собеседнику. К автору не требующих доказательств аксиом. К посреднику между папой и мной. К выверенности каждого умозаключения. К стройности и свободе высказывания.

Ах, отчего я, торопясь жить, так мало говорила с ним. Корешки книг, выстроенные в ряд, казались чем-то обыденным и даже скучным. Это были декорации домашней жизни. Платон, Аристотель, Гегель, – с одной стороны.

Шолом-Алейхем, Чехов – с другой.

Пишущая машинка посередине.

Мне было ближе второе.

Детство Темы, Каштанка, толстый и тонкий, дом с мезонином...

От Аристотеля веяло скукой. Ленивый мой ум отзывался на изящество и иронию чеховской фразы гораздо живей.

Сегодня, чтобы чуть-чуть приподняться над самой собой вчерашней, я выбираю Аристотеля. Нет, это лукавство. Не то чтобы приподняться, скорее, встать на цыпочки...

Абзац, подчеркнутый остро заточенным карандашом.
Меня утешает стройность сентенции. Благородная завершенность фразы.

Слово сильнее времени, оно переживает смерть. Оно, помеченное папиной рукой, становится выпуклым, видимым, явным.

«в промежутке между двумя точками на линии можно обозначить бесконечно много точек, в промежутке между двумя мгновениями – бесконечно много мгновений»

Любит тот, кто любит всегда.

Вечер опускается на Киев тихо, и хочется довериться этой обманчивой тишине. Хочется испытывать утерянное доверие к мирозданию, задуманному столь совершенно, столь многообразно, столь точно, столь продуманно. Хочется нежить и лелеять редкий момент тишины.

Собака распласталась на полу. Вздыхает. Это вздох полной отрешенности и абсолютного блаженства. Удивительная способность жить и принимать каждый момент существования, не подвергая его сомнению, не препарировав, не испытывая иллюзий и разочарований.

Каждый день и каждую ночь мы узнаем что-то новое, испытываем то, что никогда не предполагали испытывать.

Мы узнаем нечто новое о себе, об этом мире. О его жестокости и милосердии, о страхе, о его глубинах и оттенках.

Нам позволено приблизиться к аду на земле, то с одной, то с другой стороны. Познать его во всей полноте воплощения.

Я думала, что ад – это приемный покой районной больницы с замерзающими у ее ворот бомжами. Я думала, что ад – это последнее мамино сообщение в телефоне. Ее голос, который звучал и звучал. Он звучал, но я больше не могла ответить.

Я думала, что ад – это то самое воспоминание, которое никуда не уйдет, разве что только вместе со мной.

Ад – это чувство вины и способность прощения. Это умение прощаться и прощать.

Я думаю об этом часто, вспоминая потрепанную книгу, которую передала мне моя тетя Ляля. В нашу последнюю встречу.

– хочу, чтобы ты увезла ее с собой.

Непереносима была мысль, или просто предположение... что кто-то бездушными руками коснется и отбросит любимую книгу ее детства.

Я думаю, что ад начинается там, где все теряет смысл. Все, что ты любил когда-то. Книжки, какие-то бесхитростные предметы...

Я помню наперсток из подольского дома моей тети. Я помню морду глиняной собаки, в которой он лежал. Я помню множество ушедших в небытие подробностей.

Ад – это забытьё. Забытьё – это конец. И в то же время свобода бесконечности.

Я думаю об этом, стараясь не упустить редкую возможность быть счастливой. Прямо сейчас. Сию минуту. Касаться предметов (я знаю их на ощупь), созерцать тривиальное и всякий раз новое. Листать забытую книгу. Забыть ее на подоконнике, позволив летнему ветерку перебирать и переворачивать страницы. Могу позволить себе читать. И не читать тоже.

Да, нам позволено приблизиться. Ближе, еще ближе. Нам позволено познать то, что доступно не каждому.

Нет, это не туризм. Не программа, в которой каждый день расписан по кадрам.

Когда-нибудь появятся слова, способные передать это внезапное знание. Когда-нибудь, однажды, мы будем вспоминать ад, называя его раем. Мы будем вспоминать ад, называя его разными именами.

Мы будем вспоминать его поминутно, не упуская деталей. Моменты редкой человечности в мире страха, жестокости и боли.

Потому что то, что причиняет боль, имеет отношение к любви. Значит, оно живо. В отличие от того, что больше не болит.

Эти ножки свисающие беспомощно. Детские. Босые.

Я их столько раз видела. Эти детские ножки. Покрытые летним загаром, со ссадинами и сбитыми коленками. Когда под мощными взрывами влетали в укрытие молодые женщины или мужчины с детьми на руках.

Совсем маленькие дети. Выхваченные из постелей своих детских. Во сне. В глубоком сладком сне...

Невозможно не видеть их. Невозможно забыть.

В почтовом отделении.

В очереди суетится очень пожилая женщина. Согбенная «крабиком» спина, интеллигентная, немислимая какая-то речь, немного заискивающая, как у всех старорежимных, упорно не переходящих на государственный язык, по привычке использующих старые, отжившие свое речевые обороты, абсолютно неуместные в этом наэлектризованном пространстве.

Служащая за стойкой терпеливо и в который раз разъясняет даме (почти ласково, с нажимом, что не положено, – шоколадки в посылке растают, жара, и почтовые отправления идут бог знает сколько, и что в эту страну нельзя, нужно разрешение министерства культуры... и еще какая-то бумажка...).

Пожилая дама бестолково возится с туго набитыми, выдавшими виды, перемотанными и заклеенными скотчем пакетами, в которых явно что-то дорогое ей, но абсолютно бессмысленное в том, другом, благополучном мире, в котором обитают ее дети и внуки... слава богу, далеко от всего этого.

– да какое разрешение, это же мое, моими руками создано, – умоляюще протягивая пакеты, заискивающе убеждает дама. Со спины – абсолютное одиночество и заброшенность.

Дрожащие руки, опрятная старенькая одежда, и что самое ужасное – эти пакеты, пыльные, с непонятно чем дорогим и абсолютно бесполезным, и этот испуганный неуместный язык, и терпеливый ответ, и молчащая небольшая очередь, состоящая из меня, из таксы на поводке (воспитанный мальчик), и двух женщин, одна с гневно сверкающими голубыми глазами на покрытом не курортным загаром лице, – ох, какая извечная усталость в них и привычка сражаться, отбивать каждую пядь своих прав. И еще пара – молодые, в мятой одежде, их старательно подбираемые слова, явно люди без дома, это по каким-то негласным знакам читается.

И эти две шоколадки – для внуков – в трясущихся старых руках, и терпеливое лицо служащей, в который раз разъясняющей, «шо воно туди не доїде, не доїде, жіночка...»

Мысль. Наверное, банальная. А ведь мы живем в будущем.

В том самом будущем, в которое так сложно было поверить когда-то.

Вряд ли кто-нибудь из тех, никогда не слышавших этого холодного космического свиста (и сразу после него) взрыва, всерьез может поверить в вероятность его.

Такова природа человека.

После ночной атаки все разошлись по домам. Одни сразу, решительно, другие нехотя – несколько сомневаясь, понимая, что на этом не закончится, и что весь предыдущий опыт не даст усомниться в последовательности событий.

Но разошлись. С детьми, колясками, собаками и без.

Тишины хватило минут на сорок? Тридцать? Иллюзия спокойствия и защищенности в собственной постели так притягательна, что совершенно не хочется знать о каком-то там будущем, которое, увы, давно настоящее.

Это такая милая пожилая, очень пожилая дама с извиняющимся выражением лица. Голос у нее громкий, неожиданно визгливый, скрипучий. И вот этим своим голосом она комментирует все происходящее. Нет, она не заглядывает ежесекундно в телеграм-каналы, как это делает ее очень осведомленная соседка.

У нее, у дамы, похоже, нет этих самых каналов. И телефон старенький, ну, обычный такой телефон, по которому просто звонят.

И вот она входит с полиэтиленовым пакетом и удушающим запахом корвалола, садится на детский деревянный стульчик. И улыбается. Извиняющейся такой улыбкой. И комментирует. Похоже, ей по ночам и так не особо спится.

А тут как в театре. Или в кинематографе. Живые все-таки люди, целые семьи, коляски, младенцы, собаки, коты.

Грохот стоит такой, что все невольно пригибаются. Кроме вон той юной пары на надувном матрасе. Эта пара – начинающие родители, похоже, они здорово выматываются. И потому спят себе в обнимку, просыпаясь только от мяуканья ребенка.

Снаружи грохочет. Все невольно прогибаются. Кто-то нервно смеется. И эта дама... ну ладно, просто милая, милая старушка тоже. Визгливым своим скрипучим голосом.

От звука которого просыпается грудной младенец. И молодые родители этого младенца.

Сидящая рядом с милой дамой, видимо, ее соседка по дому, зачитывает вслух каждое выпрыгивающее сообщение.

«От советского информбюро».

Милая дама громко (визгливо и скрипуче) переспрашивает. Та, вторая, громко повторяет.

А еще одна дама пришла со своим стулом. Обычный такой задрипанный стул из квартиры. На котором, может, три поколения выросло.

Я ее понимаю. На своем стуле как-то спокойней. Всё-таки казенная обстановка тяготит.

Но не такая уж она и казенная. Некоторые люди, которые вначале казались, мягко говоря, малосимпатичными, мило улыбаются при встрече. Всех волнует одно. Когда же это, наконец, закончится. Не то чтобы в глобальном смысле. А в самом что ни на есть узком, в пределах этой ночи.

Вообще, эта противоестественная близость с посторонними людьми – удивительное явление.

Теперь я знаю, кто из них храпит, у кого недавно родились дети...

Я знаю, какие цены на рынке. Чем был хорош старик Байден, и чем плох старик Трамп. Что жена Макрона, эта самая мадам Макрон...

И что на самом деле все давно предрешено. Заговор мировых элит. Ну, вы поняли. Массонская ложа, все дела.

Об этом я узнала от хорошо осведомленной соседки очень славной пожилой дамы с извиняющейся улыбкой и скрипучим голосом.

Счастливые дни

Чуть было не выбросила. Она алая, тонкая, невесомая, для счастливых дней кем-то создана.

Одно угнетало. Рукава. Слишком длинные, чрезмерные, – не рукава, а гуси-лебеди какие-то.

В бытовом смысле я безрукий, беспомощный человек. Уроки домоводства являлись для меня испытанием. Довольно тяжким. Выпечка хвороста, шитье, подшивание и вышивание – все мимо.

Какое, должно быть, глубокое отчаяние выражали мои глаза, если даже простоватая, мучнистая и почти уютная тетенька, училка по домоводству, не особенно допекала меня. В ее понимании я была пропащей. Безрукой. Никчемной. Бесперспективной.

С уроков этих я сбегала, пользуясь любым поводом, – подделывая объяснительные записки (от мамы и преподавательницы по классу фортепиано, сольфеджио и бог знает кого еще).

А если не сбегала, то присутствовала угрюмой тенью. С завистью наблюдающей за тем, как непринужденно игла скользит, вонзается в ткань, как тянется за нею нитка, каким вдохновением светятся лица будущих мам, жен, невест...

Так вот, я отвлеклась. У блузы этой, созданной для радостных дней, рукава оказались чересчур длинными. Что придавало ей бесшабашный, цыганский, карнавальный вид.

Рукава я решила подрезать. Нехитрое, в общем, дело. Резать это не шить, сами понимаете. Вооружившись ножницами, я лихо щелкнула... один раз, другой.

Получалось кривовато. Ну, ерунда. Еще подрежу. А потом еще. Рукава на глазах теряли свою лебединую форму. И смысл.

Блуза казалась безнадежно испорченной. И тут вмешалась мама. Она остановила меня буквально на краю пропасти.

И, преодолевая собственное, увы, тоже (доставшееся мне по наследству) отвращение к занятиям шитьем, терпеливо подшила эти самые рукава, в смысле, манжеты. И все. Ушла заливчатая цыганщина, уступив место сдержанной алой красоте... И блуза горделиво повисла на плечиках, дожидаясь своего радостного часа.

Увы, в то лето я отчего-то забыла о ней... а позже алый цвет казался неподобающе праздничным, вызывающим, неуместным. Не соответствующим внутреннему ощущению.

С ней, с этой алой блузой, нужно было идти в унисон. Потому что заложенный в рукавах карнавальная дух, хоть и обрезанный, таился в самой ее сути.

Но карнавала так и не случилось.

Алая блуза, зеленое платье. А с ними нега, неспешность... что-то из прошлого, неосуществленного.

Они, купленные однажды для жизни, так и не стали ее частью.

Вот эти стежки, они сделаны маминой рукой. Незаметные такие, аккуратные стежочки с внутренней стороны рукава. Училка по домоводству сказала бы – «рукавчика».

А я, далекая от прилежания, растрепанная ироничная девица, усмехнулась бы мрачно. И даже презрительно. Потому что если рукава от рождения цыганские, то обрезать их грешно. Наверное, есть такая примета.

Но я о ней не знала.

Что я могу сказать?

За окнами тривиальный летний дождик. Вспрыснул и замер, будто раздумывая...

Всю ночь шел дождь. В рытвинах асфальта – темные лужицы.

Колкая, сухая, безжизненная трава. Тут и там мелькают желтеющие листья. Шелест деревьев создает иллюзию уюта. Иллюзию защищенности и спокойствия.

Как в детстве. Запах влажной древесины, сухой травы и теплой, парной, ненасытной земли.

Что я могу сказать? Война отнимает время, силы, жизнь. Рано или поздно она настигает тебя, все еще бодро стоящего на ногах. Рано или поздно она меняет тебя до неузнаваемости.

Война питается тобой. Страхом, тревогой, отсутствием какой бы то ни было надежды.

Война отнимает жизнь. И у того, кто уцелел (в эту ночь и предыдущие) в том числе.

Исчезла утренняя эйфория. На нее просто нет сил. Исчезли эмоции. Как будто кто-то стер их ластиком, а потом (для верности) проехался катком, оставляя единственное.

Опустошение и усталость.

Отныне приходится учитывать этот фактор. Глобальной, предельной, почти несовместимой с жизнью усталости. Осознать, что «от сих и до сих» ты сможешь, а дальше – не очень.

Вот это «сможешь» – оно тает с каждым днем и часом. И ты убеждаешься в этом, натываясь на собственное отражение в зеркале. Этот тусклый оттиск, отдаленно напоминающий тебя. Но с каждым мгновением все меньше и меньше.

Этика

Времена и обстоятельства диктуют новую этику.

Почти неприличным стало говорить (писать) о том, что тебе страшно. Что иногда ужас осознания и трезвость понимания захватывают тебя целиком, не оставляя места для сомнений и, увы, фальшивого оптимизма.

Стало неприлично говорить и слабости, о страхе...

Ты же еще жив, возьми себя в руки, не теряй остатки самоуважения.

Все самоуважение летит к чертовой матери при звуке первого взрыва. Который мигом сдувает (выдувает) тебя из логова, в котором ты худо-бедно, но как-то согрелся...

И выносит в коридор. Заставляя считать каждый последующий взрыв, фиксируя степень опасности (близко, еще ближе, еще...).

Дом дрожит, двери болтаются в петлях, а окна в рамах, собака поскуливает в ногах, а ты все считаешь эти проклятые **взрывы**. И удары сердца между ними.

Хотя что это? Как-то неловко, неудобно писать о том, что стало рутиной...

И подсчет нескольких секунд до взрыва, и мелочное пересчитывание минут (сколько там на «добежать до подвала близлежащего учреждения, который гордо именуется укрытием»).

И вот ты добежал. Гремя рюкзаком, бутылкой воды, зарядками, проводами, поводком от собаки (собака, слава богу, на нем)...

И вот ты добежал. Прекрасно понимая, что все это самообман, лживое утешение...

И что ближайшие часы (до самого утра, включая утро) тебе придется все так же сидеть, считая удары собственного сердца, чередующиеся взывы разной мощности, соотнося звук и скорость полета, хорошо отличая звук кинжала от баллистики, баллистику от реактивного шахеда.

Но об этом стыдно, неловко. Не принято. Моветон.

Послушайте, эта ваша война вместе с вашими страхами... Честное слово, давайте уже настроимся на позитив, а имени неизвестной, которая погибла не от разрушительного взрыва, а от многочасового изматывающего ужаса (то ли месяц назад, то ли полтора), завтра никто и не вспомнит.

Давайте перешагнем кучи щебня и пыли, – и всего того, что остается там, где раньше была какая-никакая, а жизнь...

И возрадуемся нежным лучам солнца, которые (ты знаешь уже) не успеют прогреть эту землю до вечера.

Который уже близко.

Нужно быть мужественным, – говорят тебе, – даже если совершенно случайно ты родился женщиной или мужчиной со слабым сердцем.

Прайм-тайм

Я хочу остановиться на том самом кадре.

Сомс впервые видит Ирен. Бесхитростное время жизни.

За окнами догорают беспечное киевское лето. Этажерка с книгами (их количество пока еще соразмерно пропорциям нашей старой квартиры), раздвижной диван (я помню долгий пружинный стон из недр его), выдвигающийся из него, дивана, сундук с сокровищами, волшебный грот Али-Бабы. О, сколько чудес таится в нем, – старая юла, любимые книжки, потрепанные жизнью куклы. Маруся, пеликан, потеряя в некоторых местах плюшевая обезьянка...

Этот мир пока еще надежно защищен несущей стеной вытянутого вдоль шоссе и бульвара типового пятиэтажного дома.

Нас все еще трое, – мама, папа и я.

В углу мерцает черно-белый, выпуклый экран неоднократно воспетого «Волхова».

Вечерний прайм-тайм. Улица стремительно пустеет. Слышно, как гулко хлопает соседская дверь. Как, останавливаясь перед каждым пролетом, медленно поднимается старуха «тетя Паша» в черном, вдвоем платке и со свисающим над безгубой прорезью рта

носом – темной перезрелой сливой. Тетя Паша – алкоголичка. Это известно всем, и даже мне, семилетней. Меня страшит ее плотно прилегающий к голове платок, темная одежда, мягкое, иссеченное глубокими бороздами лицо. А, главное, этот странный, тяжелый душок. Он неопределим. Его сложно соотнести с какой-нибудь известной мне категорией. Что-то пугающее, безжизненное, точно покрытая плесенью стена подвала.

Не так давно (сидя в подвальном помещении во время очередного обстрела), я отчетливо вспомнила тот таинственный душок.

Но я отвлеклась.

В углу комнаты, как я уже сказала, мерцает экран. По нему ползут темные полосы, зигзаги. И вот, наконец, заставка, уютный голос за кадром.

Какие-то дамы в шляпах, джентльмены в смокингах... Чайные сервизы и церемонии, лошадиные бега, черепаховые гребни, кружевные чепцы, трости, кресла с подлокотниками, тяжелые гардины...

Итак, Сомс впервые видит Ирен. И в этой точке мне хочется остановиться.

Книгу я прочту потом, несколько позже, и тогда образ красавицы с волосами «цвета опавших листьев» затмит тот, экранный, холодно-светский.

Мне искренне жаль Сомса.

Мне жаль его отвергнутой любви, абсолютно наивной, всепоглощающей. В этой точке, в которой он, сильный, молодой, успешный отпрыск форсайтовского клана, смотрит на загадочную юную бесприданницу, он безусловно счастлив. Как может быть счастлив любой в предчувствии жизни.

То есть судьбы. Ах, если бы можно было остановить. Нам-то, сидящим в зрительном зале, все предельно ясно! Вот здесь, здесь, и еще вот здесь. Хотя, кто его знает, каков, собственно, глубинный замысел.

Мне, семилетней девочке, жаль Сомса. Жаль его (так и не востребованного) темперамента, безудержной жажды жизни. Его необузданного стремления к обладанию.

Нет, конечно, тогда, в «прайм-тайм», я не столько понимала, сколько впитывала.

Скудость черно-белого изображения отнюдь не мешала восприятию, – напротив, именно она, эта скудость, питала его, оставляя простор для воображения. Вот этот таинственный «зазор» между видимым и незримым.

Я помню гостиную, ломберный столик, ростбиф с крушоном. Лобмард. Цилиндры, пролетки. Бумажные обои на стене. Сюжетные линии сплетаются, расходятся, будто ручьи, потом опять сходятся. Чуть позже я пойму, зачем нужно было избавиться от того или иного действующего лица. В угоду коллизии. Его величество сюжет, способный перемолоть сотни судеб, и выдать единственно точный непогрешимый результат.

Выросший на наших глазах кудрявый малютка уйдет на войну. Монти, проиграв в пух и прах состояние, сбежит в Аргентину.

Только в романе, прописанном столь тщательно, – в лучших традициях добротной британской прозы, – можно увидеть зарождение жизни, наблюдать все значимые и незначимые события, предшествующие драматической или счастливой развязке.

Я вижу немислимую нежность, заключенную в жесткой и подчас жестокой оболочке. Выпуклый, фирменный форсайтовский подбородок с глубокой ямочкой, расщепляющей его. Бедный Сомс, обделенный в главном. Его нежность обрушивается на дочь. Как будто именно дочь и станет воплощением скрытой форсайтовской уязвимости.

«Туман был не такой уж и густой».

Кольшутся страусиные перья на замысловатой дамской шляпке, уходят вглубь декорации. Ирен с саквояжем в руках спешно покидает дом.

Невинные обои форсайтовских комнат, темные картины в тяжелых рамах.

Жизнь развивается по кем-то прописанным канонам в рамках заданных декораций.

За первой главой следует вторая, за второй – третья. Те двое должны были погибнуть (либо под колесами кэба, либо от чохотки), чтобы уступить дорогу более значимым (в контексте истории) героям. Герои должны стать счастливыми. Что-то их должно к этому счастью подвести.

Вот так начинаешь познавать безжалостную, неумолимую диалектику бытия.

Не «Авраам родил Исаака», а Форсайт родил Форсайта. Герои вырастут, состарятся, и война станет естественным продолжением сюжета. Она придаст ему, сюжету, новый смысл и невиданный размах. Погибнут те и эти. Не вернутся другие.

«В любом случае, я на стороне буров, они имеют право на свою землю».

Любовь Сомса переживет все. Возможно, именно она (как неосуществленное, эфемерное, но торжествующее над всем) и останется главным итогом и вершиной авторского замысла.

Возможно, именно это и увидит, не столько увидит, сколько услышит сердцем та самая девочка, живущая в унылой (на самом деле залитой густым, будто абрикосовый джем, августовским солнцем) пятиэтажке.

Она запомнит взгляд Сомса в момент наивысшего откровения, изменившего всю его жизнь.

Все прочее (как и война англичан с бурами) окажется не более чем сюжетной линией. Гораздо менее значимой, чем любовь.

Если не всматриваться

Все сложнее верить в то, что в промежутках «между» существует жизнь. За нее хочется держаться.

А потом наступит ночь. И характерный звук дронов. И оповещение о баллистике. И попытка хоть куда-то добежать за эти пару минут.

И спасительная мысль о том, что наступит (должен наступить) следующий день. За эту мысль хочется держаться. И не отпускать ее.

Когда я смотрела фильмы (или читала книги) о войне, меня поражало, как буквально на близлежащих улицах в одно и то же время люди ходили в кино или в театр, в кафе или ресторан, тогда как рядом... совсем рядом...

Сейчас я вижу это не в кино и не в книге. Все слишком явно, слишком...

Человек, так уж он устроен, – если проснулся, то вынужден как-то всё-таки жить. Переступая и отворачиваясь. Или не отворачиваясь.

Жизнь огромного города. С играющими до позднего вечера мальчишками, с чьим-то смехом за окном, с опрокинутым в высокую траву самокатом. Если идти, не особенно всматриваясь в темные провалы там, где когда-то была жизнь, то обычное киевское лето.

Если не всматриваться.

Я укрываю собаку, стараясь не замечать ее вопросительного взгляда, – сегодня мы будем спать? Как раньше? Или?

Вот это «или» вбивается в твой мозг, не отпуская его. Теплый летний вечер переходит в ночь. Рядом со мной телефон, зарядка, рюкзак. За окнами – условная тишина. В этой тишине таится многое. Многое, о чем не хочется помнить. Провалы, пустоты, шрамы. Все это знают и видели. Как лучезарная картинка разлетается вдребезги, как свет обращается в тьму, как меркнут цветущие сады, как падают птицы.

В конце концов, из всех сложносочиненных задач остается единственная.

Дожить до утра.

Лимонадный Джо

Бежать, прямо скажем, особо некуда. Любое бегство «от» – не более чем иллюзия. В нее (точно в стеклянный куб) можно погрузиться на некоторое время, но, подобно жене Лота, остаться на месте, ощущая тысячи натянутых нитей. Они тянут и тянут, и от этого сложно вдохнуть и выдохнуть.

Место еще до твоего появления на свет особенно тебя не приветствовало. Тебе еще только предстоит весь этот бессмысленный путь, начиная с прививки от оспы и гепатита А, с навязанного «аз, веди»...

Весь твой мир – такой огромный и такой крохотный – ушел, точно Атлантида, в эту беспредельность и абсолютное беспмятство. Нет тех и нет этих. Нет слепого музыканта, и маленького Темы нет. Нет мальчика Мотла и лимонадного Джо. Остался солнечный блик, бегущая по склону собака. Осталось нечто, что по инерции называется домом. Хотя им, конечно же, давно не является. Его, дома, на самом деле не существует. Блочно-панельный мир. Прошлое больше не отбрасывает тени. Некому ворошить карточки в семейных альбомах. Некому читать книги, стоящие на полках.

Единственная надежда – голос. Осталась еще зыбкая надежда на то, что книги, будучи запрещенными или «не рекомендованными к прочтению», написанные в эти безусловно страшные времена, однажды будут услышанными.

Кем и когда, не столь важно.

Мое дело – бросить бутылку в открытое море. Пусть себе плывет.

2025